



В арку со двора, — а там крапива,
Бабочки, стрекозы, мураши.
Подорожник — чтобы не кровила
Ссадина, когда на гаражи
Лезли мы оравой партизанской
И бежали, жостью грохоча.
Чья победа в той «войне» пацанской
Праздновалась к вечеру? Ничья.

Рвали кеды об асфальт и гравий,
Шли к доске походкой смельчака,
Кажется, в Чапаева играли...
Кто теперь играет в Колчака?
Наш состав отходит от перрона,
Исчезая в зелени полей.
Ты не вейся, белая ворона,
Над башкой растрепанной моей.

Дятел

Зацепившись лапками и хвостом,
Поплевав на голые провода,
Дятел долбит клювом бетонный столб —
Боевой ударник, герой труда.

Во дворе пустынно — тревожный знак.
Там ребенок в маске грустит один.
Ни качель, ни горка и ни весна —
Ничего не радует. Карантин...

Рухнул мир — огромный стеклянный шар,
Заколочен выход, задраен вход.
И глаза печального малыша
Смотрят в голубеющий небосвод,

Где бумажный голубь, воздушный змей
И японской девочки журавли
Говорят: «Не бойся! Гляди смелей
И лети смелее на край земли!»

И ребенок тянется к небесам,
И весну вдыхает, забыв про страх.
Его гладит ветер по волосам,
И щебечут птицы во всех дворах.

Поднял шар малыш. Значит, будет он
Во сто крат счастливей, чем ты, чем я.

...А не зря ведь дятел крошил бетон!
Клюв разбил, а все же добыл червя.



Незнакомая серая птичка на проводах
За окошком моим зарешеченным звонко пела,
А потом улетела.

Мир ни с волей, ни с разумом не в ладах,
Сам себя запирает в клетку, всего боится.
Дай мне воздуху, птица.

Дай мне веры хотя бы решетку не замечать,
Не скакать по жердочке, не напевать как прежде
В эфемерной надежде

На того, кто однажды придет и сорвет печать
Ту, что сам и прилепнул в благих — вероятно — целях,
С вышки дуло нацелив.

Мы на волю выйдем на цыпочках осторожно,
А потом разлетимся, промолвив «земля, прощай»,
Всяк своею дорогой.

Отпусти нас, Господь, на свободу. Но, если можно,
Только птичку обратно в клетку не возвращай.
Только птичку не трогай.

Береза

Памяти Евгения Евтушенко

На Лисихинском кладбище
В земляничинах спелых,
Как органые клавиши
(Больше черных, чем белых),

Меж оградок рассыпаны
Камни плоских надгробий.
И по нотах разыграны
Чьи-то судьбы и роли.

Мне Иркутск — не пристанище
На часок для туриста.
На Лисихинском кладбище,
Одинока и мглиста,
Есть береза могучая —
Не стройна, не красива.
Но такая певучая
В ней заложена сила!

Ни креста и ни прописи
Прошлый век не оставил.
Она выросла против всех
Указующих правил,
Жить отчаянно вызвалась —
В утешенье, в награду
Она вызрела, вырвалась,
Разорвала ограду,

Не безверья орудие,
А бессмертья оружие.
Прутья ржавые в грудь ее
Проникают все глубже.
Но из камня неистово
Эта сила живая
Пробивается, искрами
Жизнь мою прошивая.

На Лисихинском кладбище
У березы у этой
Сам в себе, словно клад, ищу
Тайну строчки неспетой.
Время скрыло в веках иных
Имя, отчество, дату.
Лишь на клавишах каменных
Дождь играет сонату.

Шарманщик

Памяти Сергея Рыбалки

А если ты спросишь — каким этот город был? —
Я вряд ли отвечу, поскольку не знаю сам.
Нет, дело не в том, что я что-нибудь позабыл.
Но вот я смотрю — и не верю своим глазам:

Где дворик на Пушкинской, лестница и чердак,
Возня домовых, голоса полуночных птиц?
Где мы, ни черта не понявшие, где черта,
Что нас отделила от скрипа тех половиц?..

Мы стали другими, а город — совсем другим.
Но, впрочем, так было и раньше, еще до нас.
Лишь ветер, который привык нарезать круги,
Холодным ножом разрезает апрельский наст.

Шарманка, шатер шапито — разве дело швах?
Не в шляпе ли дело, в шарманщике, в кураже?
Запомнит ли площадь в асфальтовых серых швах
Шторма, что шумели в поющей живой душе?

Навряд ли, навряд ли... Но есть вариант один —
Держать в колчане наготове десяток стрел
И лук с тетивой из басовой струны в груди,
И в памяти песенки, и угольки в костре.

Пусть ветер играет на вантах моста с листа
Мелодию старой шарманки под снег и дождь.
А если ты спросишь — каким этот город стал? —
Прислушайся к музыке этой — и все поймешь.

Памяти Марины Самаркиной

Лети легко, как снег летит над городом Хабаровском,
Где на февральской белизне запутаны следы.
Не так леталось — и жилось не так легко и радостно,
Как представлялось нам тогда, беспечно молодым.

Тогда и саночки несли — что в гору, что под горочку,
Тогда в окошко постучать — что в двери позвонить.
И ты поэт, и я поэт — привет, держи пятерочку!
Так меж веков-материков натягивалась нить.

Провинциалы у судьбы всегда бойцы-сверхсрочники:
Кому в столице двадцать пять, у нас — все пятьдесят.
По свету разбросало нас — везде дальневосточники:
Кому-то можно позвонить, кому — уже нельзя...

Лети легко, передавай приветы: помним, веруем,
Что соберемся у костра на дальнем берегу.
А над Хабаровском метель — и прорастает вербою
Весна, как звукоряд следов на тающем снегу.

О Харькове

О Харькове, о городе чужом,
Который стал своим почти внезапно,
Мне, мой восток сменившему на запад,
Потом на юг — с семьей и с багажом,

Что вспоминать? Веселую листву
Старинной липы, в мае зашумевшую,
И нашу с дочкой в парк прогулку пешую
К качелям, к каруселям, к волшебству.

О Харькове, где Рымарскую снег
Так заметал, что дворники сидели,
Три метра расчищая две недели.
А что на крышах — таяло к весне.

Как вкусен был здесь монастырский хлеб!
Как с поводка рвалась, прогулке радуясь,
Собака, находя себе в награду грязь
И шлепая с восторгом. «Ты ослеп?

Смотри, как много счастья на дворе!
Как мало жизни, чтобы надышаться!
Она однажды не оставит шанса,
Как перелетным птицам в сентябре...»

Созревшие каштаны застучат,
Под ноги и на головы нам падая.
Прохладой долгожданной город радуя,
Войдет в сердца осенняя печаль.

В саду Шевченко (сад уже не тот)
Я позабуду, где тропинка к дому,
И обращусь к прохожему любому,
И он укажет нужный поворот.

О Харькове, о городе моем
Не зря, нахмутив тучи, грозы грезили.
Миг фотовспышки. Ливень. Сквер Поэзии.
И мы — под общим зонтиком, втроем.

Дядя Лёля

Двоюродному деду Алексею Федоровичу Конышеву

Дядя Леля в гости приезжал
С севера в деревню, где родился.
Он за стол обеденный садился
И отцу, и брату руки жал.

Дяде Леле было двадцать лет
В Котлубани, там — под Сталинградом.
На рубеж исходный он, как надо,
Вывел взвод — удар — и взвода нет.

А ему — осколок под ребро,
Госпиталь и снова фронт — под Брянском.
Некому наградами побряцать:
На сегодня живы — и добро.

ПТРы на' плечи взвалив
(Тяжела ты, шапка Мономаха),
Кто Христа припомнив, кто Аллаха,
Сквозь леса бойцы его брели.

Есть такое Дятьково — село.
Есть такая вещь — разведка боем.
В обороне вражеской пробоин
Было мало. Нашим повезло.

Вот и вся, казалось бы, война...
Дальше бой, тяжелое раненье,
Медсанбат, навстречу пополненье,
Может быть, кому и ордена...

Дядя Леля ночью плохо спал.
Извинялся: «Вроде только лягу —
Сразу взрыв, и взвод вести в атаку...»
Дверь во двор ногою вышибал.

У своих родителей гостил
Очень редко — жил он в Лабытнангах.
«Беломор» курил, катал на санках
Сына, что воспитывал один.

Вряд ли жив теперь. Я был бы рад,
Если жив.
Он крайне непростою
Награжден был Красною Звездою
И медалью — вслед — за Сталинград.



«Это мой дом», — он шептал, а его все просили
Освободить, потому что развалины эти сносили.
«Это мой дом», — он держался за ручку дверную.
Ставили точку, а он норовил запятую.

В сорок четвертом году разорвали блокаду.
Сорок четыре ему, он прошел сколько надо.

Сколько ходил он в разведку за линию фронта...
«Это мой дом», — он стоял, вспоминая о чем-то.

Вот коридор, и бежит его дочка навстречу...
Запах сирени и майский сиреневый вечер...
Вот эта комната, мир довоенный, свободный...
Нужно сносить — четверть дома разрушено бомбой.

Он возвратился, он дышит, он радио слышит,
Он понимает, что нет ни квартиры, ни крыши...
Он понимает. И все-таки ручку сжимает.
«Это мой дом», — про себя сам себе повторяет...



Море не взять с собой,
Но камешек голубой
Можно забрать легко,
Увезти далеко —
Туда, где ни моря нет,
Ни даже его примет.
На полочку положить,
Без моря прожить,
Бродить год за годом век
Там, где вместо рек —
Дороги да суховей
Не наших кровей.
И только в конце пути
Крыла обрести,
Взлететь и увидеть вдруг,
Что море — вокруг.

О белом ирисе

Утренний остров Рейнеке, кофе на костерке.
Если во что и верится — в здешнюю тишину.
Если о чем и помнится — только о пустяке,
Только о белом ирисе и о тропе к нему.

Мы поспешили с возрастом резко уйти вперед.
К лучшему или к худшему — выяснится в конце.
Крылья даются каждому — важно начать полет,
Выстроить ноты правильно и отыграть концерт.

Важно понять мелодию, строчку не упустить,
Важно вернуться вовремя и перестроить шаг.
Жизнь на запястье фенечкой вяжет простую нить,
Память о белом ирисе вечно хранит душа.

Вечное лето острова, красных его камней,
Лодочка перевозчика через пролив Ликандр.
Если однажды сбудется, мы поплывем на ней.
Остров, тропа, история, белый цветок, стоп-кадр...



Я поднимаюсь в Иерусалим.
К ладоням неба, солнечным, горячим.
Они коснутся век — и станет зрячим
Во тьме идущий к свету пилигрим.

Его ступни в мозолях и в пыли
За сотни лет привыкли к бездорожью.
Он по камням ступает осторожно,
Чтобы укрыться ящерки могли.

И я за ним в тени зеленых крон
Иду — искать ли мне пути другого?
И Старый Город, и гортанный говор
Вдруг обступает с четырех сторон.

И все ветра над Храмовой горой
Вмиг затихают в зарослях оливы.
У этих стен и сабры, и олимпы —
Все пилигримы, все пришли домой.

На теплый камень посох положи,
Усталый странник, отдохни немного.
Там, впереди, небесная дорога —
Незримый путь для вызревшей души.

Я поднимаюсь в Иерусалим.
Выходит с потом прошлое по капле.
И ангел замер ящеркой на камне,
Пока мы разговариваем с Ним.

